



## СНОВИДЕНИЕ ЯНА ТУПЕЯ<sup>1</sup>

И вот мне, Яну Тупею, писцу достопочтенной Ост-Индской компании в этом богом забытом городе Калькутта, как некогда мистеру Беньяну, приснился сон<sup>2</sup>, и с тех самых пор, как охромела моя кобыла Китти, подобного беспокойства испытывать мне не доводилось. А потому, дабы не забыть свой сон, я решил записать его на бумаге, хотя одному Богу ведомо, насколько неловок я в обращении с пером — я, который до своего отъезда из Лондона два долгих года тому назад всегда охотнее прибегал к шпаге, нежели к письменному прибору.

По окончании большого бала, каковой ежегодно дается генерал-губернатором в конце ноября, я, будучи менее трезв, нежели хотелось бы, возвратился в свою квартиру окнами на медленную, хмурю и такую неанглийскую реку Хугли. Поскольку того, кто, по меркам Запада, упился вусмерть, на Востоке сочтут слегка под хмельком, то я, как выразился бы мистер Шекспир, был пьян норд-норд-востоком<sup>3</sup>. Вопреки этому обстоятельству прохладные ночные ветра (приносящие, как я слышал, бесчисленные простуды и кишечные хвори) несколько меня отрезвили, и я вспомнил, что недуги последних четырех месяцев лишь в небольшой мере ослабили мой организм, тогда как все крепкие молодые джентльмены, прибывшие на Восток тем же кораблем, что и я, еще месяц назад отправились

---

<sup>1</sup> Рассказ «The Dream of Duncan Parrenness» впервые опубликован в газете *Civil and Military Gazette* 25 декабря 1884 г., а затем включен Киплингем в сборник «Life's Handicap» («Жизнь дает фору», 1891).

<sup>2</sup> Джон Беньян (тж. Баньян, 1628–1688) — английский писатель, баптистский проповедник. Зд. отсылка к началу самой знаменитой его книги, «Путь паломника» (тж. «Путешествие пилигрима в небесную страну»): «Странствуя по дикой пустыне этого мира, я случайно забрел в одно место, где находился вертеп. Там я прилегло отдохнуть и вскоре заснул. И вот приснился мне сон...» (перев. Ю. Засецкой).

<sup>3</sup> Ср.: «Я безумен только при норд-норд-весте; когда ветер с юга, я отличаю сокола от цапли» (У. Шекспир. Гамлет. Акт II, сц. 2. Перев. М. Лозинского).

в вечность, упокоившись в дрянной земле к северу от здания Секретариата. В туманных выражениях я возблагодарил Господа (хотя, к моему стыду, колен не преклонял) за дозволение жить, во всяком случае, до следующего марта. Поистине мы, живые (притом что нас куда как меньше, нежели тех, кто в недавнюю жару предстал перед последним судом), по милости Провидения в тот вечер на славу повеселились в стенах Форта<sup>1</sup>, пускай даже шутки наши не отличались ни остроумием, ни приличием, достойным ушей моей матушки.

Когда я лег — или, скорее, рухнул — в постель и хмельные пары немного развеялись, я обнаружил, что не могу уснуть, поскольку голова моя наполнилась тысячью напрасных мыслей. Прежде всего, над изножьем кровати, словно картина, сооткалось прелестное личико — а я давно уж не вспоминал о ней — Китти Сомерсет; я видел ее так ясно, словно она явилась ко мне во плоти. Далее я припомнил, как она надумила меня отправиться в эту проклятую страну, дабы я разбогател и тем самым ускорил нашу свадьбу, благословленную родителями с обеих сторон, и как потом Китти передумала (или одумалась?), разорвала помолвку и выскочила замуж за Тома Сандерсона через каких-то три месяца после моего отплытия. Вслед за Китти мысли мои обратились к миссис Ванзёйтен, высокой бледной даме с фиалковыми глазами, которая прибыла в Калькутту из голландской фактории в Чинсуре и перессорила не только всю нашу гарнизонную молодежь, но и многих комиссионеров. Кое-кто из наших кумушек, правда, утверждал, что она никогда не имела ни мужа, ни брачного свидетельства, но ведь женщины, особенно те, что ведут добропорядочную, лишённую страстей жизнь, суровы и нетерпимы друг к другу. В придачу красотой миссис Ванзёйтен превосходила их всех. На губернаторском балу она держалась со мной крайне любезно, и все собрание смотрело на меня как на ее *preux chevalier*<sup>2</sup>, что в переводе с французского звучит куда грубее. Питал ли я хоть малейшие чувства к этой самой миссис Ванзёйтен (хоть и поклялся ей в вечной любви через три дня знакомства)? Этого я не знал ни тогда, ни позднее, однако моя ретивость и искусство

<sup>1</sup> *Форт* — Форт-Уильям, британская крепость, давшая начало городу Калькутта. Старый Форт-Уильям был построен в 1696–1706 гг. на средства Британской Ост-Индской компании. В 1772 г. в Форт-Уильяме было учреждено Бенгальское президентство во главе с Уорреном Гастингсом (1732–1818). До 1833 г. крепость оставалась резиденцией генерал-губернатора Индии.

<sup>2</sup> Храбрый рыцарь (*фр.*).

владения рапирой, в котором мне не было равных во всей Калькутте, способствовали ее благосклонности, так что я был уверен, что влюблен.

После того как фиалковые глаза миссис Ванзёйтен были изгнаны из моих мыслей, рассудок с укором спросил, зачем же я волочился за нею вовсе, и мне открылось, что год, прожитый здесь, так иссушил и выжег мою душу пламенем множества дурных страстей и желаний, что каждый месяц в этой адской школе старил меня вдесятеро.

Затем я начал вспоминать матушку, преисполнился раскаяньем и в своем греховном подпитии тысячу раз поклялся исправиться, но, боюсь, впоследствии нарушил каждую из принесенных клятв. «С завтрашнего дня, — сказал я себе, — я начну новую, добродетельную жизнь». Медленно моргая (хмель во мне был еще силен), я улыбнулся, представив опасности, коих счастливо избежал, и принялся строить всевозможные воздушные замки, где королевой неизменно была призрачная Китти Сомерсет с фиалковыми глазами и милой растянутой манерой речи миссис Ванзёйтен.

Под конец я ощутил прилив безмерной и прекрасной дерзновенности (которую, вне всяких сомнений, следует приписать матери мистера Гастинга)<sup>1</sup>, и вот уже я представлял себя генерал-губернатором, князем, принцем, да что там, самим Великим Моголом, и все это силой одного лишь желания. Предприняв первые шаги на пути к своему новому королевству, весьма неуклюжие и шаткие, я пинками растолкал моих спящих слуг, так что они с воем бросились прочь, и призвал небеса и землю в свидетели того, что я, Ян Тупей, состою на службе писцом и не боюсь никого в целом свете. Убедившись же, что ни Луна, ни Большая Медведица не намерены принять мой вызов, я снова лег в кровать и, должно быть, уснул.

Пробудился я вскоре от того, что кто-то дважды или трижды повторил мои последние слова. В комнату вошел подвыпивший человек — с бала мистера Гастинга, как я подумал. Он уселся в изножье моей кровати так бесцеремонно, будто она ему принадлежала, и, насколько я мог разглядеть, лицом напоминал меня, только много старше, правда, затем оно сменилось на лицо генерал-губернатора, а следом — моего отца, почившего полгода назад. Впрочем, я счел это вполне естественным результатом злоупотребления спиртным, и появление незваного гостя так меня разозлило, что я не слишком

<sup>1</sup> См. примеч. на с. 6.

вежливо велел ему убраться. На мои слова он никак не реагировал и лишь неторопливо повторял, точно смакуя: «Состою на службе писцом и не боюсь никого в целом свете». После он вдруг резко обернулся в мою сторону и заявил, что человек моего склада может не страшиться ни дьявола, ни себе подобных, что я — храбрый юноша и, весьма вероятно, доживу до того дня, когда стану генерал-губернатором. Но за все это (полагаю, он имел в виду повороты и случайности нашей переменчивой жизни в этих краях) я должен уплатить свою цену.

К этому времени я несколько протрезвел и, окончательно проснувшись, был склонен воспринимать происходящее как шутку подгулявшего гостя. С задором в голосе я осведомился:

— И какую же цену обязан я уплатить за сей дворец размером в двенадцать квадратных футов и жалкие пять пагод<sup>1</sup> в месяц? Черт бы побрал вас с вашими шутками; своей болезнью я заплатил вдвое больше!

В это мгновение незнакомец развернулся так, что в лунном свете мне стала видна каждая черточка и морщинка на его лице. Мое хмельное веселье улетучилось, как если бы на моих глазах за одну ночь обмелели великие реки, и меня, Яна Тупея, не страшившегося ничего в целом свете, обуял такой неопишущий ужас, какого, наверное, не доводилось переживать ни одному смертному, ибо понял я, что это лицо — мое собственное, только изборожденное морщинами, отмеченное печатью недугов и обезображенное следами самого дурного образа жизни. Однажды, будучи сильно пьян (помоги мне Господь), я уже видел такое лицо — бледное, изможденное, старенное — в зеркале. Уверен, любой на моем месте испугался бы еще сильнее, ведь я человек, никоим образом не обделенный мужеством.

Некоторое время я лежал неподвижно, насквозь вспотев от мучительного страха и дожидаясь пробуждения от кошмарного сна (в том, что это сон, я не сомневался), а затем гость вновь повторил, что я должен уплатить свою цену, и чуть погодя прибавил:

— Сколько ты готов заплатить? — словно я должен был дать ответ в пагодах и сикка-рупиях<sup>2</sup>.

— Кем бы ты ни был, ради всего святого, сгинь, а я с этой же ночи встану на путь исправления, — тихо пролепетал я.

<sup>1</sup> *Пагода* — старинная индийская золотая или серебряная монета.

<sup>2</sup> *Сикка-рупия*, или сикка, — счетная монета в Бенгалии.

Он усмехнулся моей мольбе, но ничем более не показал, что услышал меня, и вместо этого молвил:

— О нет, я только хочу избавить юного негодника вроде тебя от всего, что грозит обернуться великими препятствиями и загубить твою жизнь в Ост-Индии, ибо, поверь мне, — тут он снова обратил свой взор прямо на меня, — возврата не будет.

Изрядно озадаченный этой непонятной мне тогда бессмыслицей, я ждал, что последует дальше, и мой визави с полным спокойствием произнес:

— Отдай мне свое доверие к людям.

В ту минуту осознал я, как высока будет цена. Мною овладела уверенность, что таинственный гость истребует все, что пожелает, и от ужаса вкупе с бессонницей с меня слетели последние остатки хмеля. Резко перебив незнакомца, я принялся убеждать его, что я вовсе не такой пропащий человек, как ему показалось, и что своим товарищам доверяю ровно настолько, насколько они того заслуживают.

— Я не виноват, что одна половина из них — луны, а другую половину следовало бы заклеить каленым железом! — воскликнул я и вновь стал молить, чтобы он не задавал мне своих вопросов. Затем я умолк, так как, по правде сказать, немного испугался, не слишком ли распустил язык.

Гость, однако, оставил мою речь без внимания, а лишь прикоснулся ладонью к левой стороне моей груди, и меня обожгло ледяным холодом. Он снова засмеялся и проговорил:

— Отдай мне свою веру в женщин.

При этих словах я вздрогнул в постели, точно ужаленный, вспомнив милую матушку в далекой Англии. Сперва я наивно вообразил, что мою веру в прекраснейших творений Господних невозможно ни поколебать, ни отобрать, однако под суровым взглядом собственного двойника снова, уже во второй раз за ночь, подумал о Китти (той, что предала меня и стала женой Тома Сандерсона) и о миссис Ванзэйтен, добиваться внимания коей меня заставляла одна только проклятая гордость, и о том, что миссис Ванзэйтен еще хуже Китти, а хуже их всех вместе — я сам, ибо с намереньем достигнуть жизненных целей пустился по кривой дорожке Сатаны, выметенной и убранной<sup>1</sup>, и все, разумеется, потому, что в конце

---

<sup>1</sup> Ср.: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: „возвращусь в дом мой, откуда я вышел“. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным» (Мф. 12: 43–44).

ее мне виделась легкая женская улыбка. И я подумал, что все женщины в мире похожи либо на Китти, либо на миссис Ванзёйтен (право же, в моих глазах они были таковыми уже давно), и это вызвало во мне такой гнев и печаль, что я испытал невыразимую радость, когда ладонь моего двойника вновь легла мне на грудь, и эти пустые мысли перестали меня тревожить.

Долгое время он не произносил ни слова, и я понял, что он должен меня покинуть, поскольку я вот-вот проснусь, но тут он опять обратился ко мне тихим голосом и сказал, что я глупец, если тревожился по таким пустякам, от которых он меня избавил, и что перед тем, как уйти, он попросит меня еще о кое-каких безделках, по которым в этих краях не плачут ни зрелые мужи, ни даже юнцы.

И вышло так, что, безотрывно глядя мне в глаза моими же глазами, он вынул из моего сердца последние остатки юной души и совести. Сии утраты стали для меня гораздо более тяжкими, нежели две первые, ибо, несмотря на то что я — спаси меня Господи — многожды сходил с путей праведных и далеко отклонялся от благочестивой жизни, во мне, пусть и по моему собственному убеждению, все же сохранялась некая душевная чистота, благодаря которой в пору отрезвления (или болезни) я горько сожалел обо всем содеянном ранее. И вот теперь я ее окончательно лишился и на месте нее снова ощутил в сердце смертельный холод. Я, как уже говорил, не слишком искусен в писательском мастерстве и потому опасаясь, что изложенное мною понять будет трудно. Однако в жизни молодого человека случаются определенные моменты, когда из-за великого горя или прегрешения все мальчишеское в нем выгорает дотла и он разом оказывается в прискорбном состоянии зрелости, подобно тому как наш яркий индийский день сменяется ночью без всякого намека на серые сумерки, способные смягчить переход от одной крайности к другой. Это, пожалуй, поможет представить мое состояние, только следует помнить, что страдания мои были вдесятеро сильнее тех, что выпадают на долю человека при естественном ходе событий.

В ту минуту я не посмел задуматься о перемене, которая случилась со мной в одночасье, однако позже много размышлял об этом.

— Я уплатил цену, — молвил я, клацая зубами от страшного холода, — и что же получу взамен?

За окнами светало, и в сиянии зари, поднимавшейся на востоке, фигура моего двойника начала бледнеть и таять, как, по рассказам

## СНОВИДЕНИЕ ЯНА ТУПЕЯ

---

матушки, всегда бывает с призраками, демонами и прочими подобными сущностями. Он будто бы собрался уходить, но мой вопрос его остановил, и он расхохотался так же, как расхохотался я, когда в августе минувшего года проткнул шпагой Ангуса Макалистера, усомнившегося в добродетельности миссис Ванзёйтен.

— Взамен? — повторил он вслед за мной. — Силу жить — столько, сколько отмерит Бог или Дьявол, и раз уж ты будешь жить, юный господин, вот тебе мой дар. — С этими словами он вложил что-то мне в ладонь.

В темноте я не разглядел, что это, а когда поднял глаза, гость уже исчез. Когда же рассвело, я увидел, что это маленький кусочек сухого хлеба.



## ГОРОД СТРАШНОЙ НОЧИ<sup>1</sup>

Плотная влажная жара висела над лицом земли, подобно одеялу, и с самого начала лишала всякой надежды на сон. Да еще цикады, вторящие жару, да еще шакалий вой, вторящий цикадам! Не было никаких сил сидеть сиднем в темном, пустом, гулком доме и смотреть, как панкха<sup>2</sup> гоняет недвижимый воздух. А потому в десять вечера я уткнул свою трость в землю посреди сада и стал смотреть, в какую сторону она упадет. Трость указала в точности на озаренную луною дорогу, что ведет в Город Страшной Ночи. Звук падения потревожил зайчиху. Она, прихрамывая, вскочила со своей лежки и припустила через заброшенное магометанское кладбище, где черепа без челюстей и обломанные берцовые кости, беспощадно обнаженные июльскими ливнями, мерцали перламутром в изрытой дождями почве. Горячий воздух и тяжелая земля даже мертвых заставили выбраться наружу в поисках прохлады. Зайчиха ковыляла все дальше; с любопытством понюхала черепок закопченного светильника и канула в тень купы тамарисковых деревьев.

В хижине плетельщика циновок под стеной индуистского храма спящие лежали вповалку, точно укутанные пеленами трупы. В вышине горело немигающее око Луны. Тьма создает хотя бы иллюзию прохлады. И не верилось, что льющийя с небес поток света не жарок. Не столь горячий, как солнечный свет, все равно он обдавал тошнотворным жаром и без нужды перегревал душный воздух. Дорога в Город Страшной Ночи была пряма, как полоса полированной стали; и по обе стороны дороги в самых фантастических позах воз-

---

<sup>1</sup> Рассказ «The City of Dreadful Night» впервые опубликован в газете *Civil and Military Gazette* 10 сентября 1885 г., а затем включен Кипплингом в сборник «Life's Handicap» («Жизнь дает фору», 1891). Название рассказу дала опубликованная в 1880 г. одноименная философская поэма «лауреата пессимизма» Джеймса Томсона (1834–1882).

<sup>2</sup> *Панкха* — подвесное опахало в Британской Индии.

лежали на своих ложах тела — сто семьдесят человеческих тел. Одни с головы до ног закутанные в белое, с замотанными ртами; иные нагие и черные, точно эбеновое дерево, в этом слепящем свете; а один, что лежал с отвалившейся челюстью навзничь поодаль от прочих, — серебристо-белый и пепельно-серый.

«Это спящий прокаженный; а все прочие — усталые кули<sup>1</sup>, и слуги, и мелкие лавочники, и кучера наемных повозок, что стоят поблизости. Место действия — главная дорога, ведущая в Лахор, время действия — жаркая августовская ночь». Только и всего; однако же это далеко не все, что я мог видеть. Колдовство лунного света разливалось повсюду; и мир чудовищно преобразился. Этот длинный ряд нагих мертвецов, завершающийся застывшей серебряной статуей, был весьма неприятен на вид. И мужчины, одни только мужчины. А что же женщины? Они, стало быть, вынуждены спать в духоте глинобитных хижин, насколько уж возможно там уснуть? Сердитый детский плач, раздавшийся с низкой крыши, ответил на мой вопрос. Где дети — там, несомненно, и матери, которые за ними глядят. А в такую душную ночь нужен глаз да глаз! Вон круглая черная головенка выглянула из-за стенки, которой обнесена крыша, вон уже и тонкая — тонюсенькая — смуглая ножонка тянется к водосточному желобу... Резко звякнули стеклянные браслеты; из-за стенки на миг показалась женская рука, обвилась вокруг тощей детской шейки, и протестующее дитя утащили обратно, в убежище кровати. Пронзительный детский плач умер в душном воздухе почти сразу, как родился, — даже детям этой земли было слишком жарко плакать.

Еще трупы; еще полосы залитой луной, белой дороги; вереница спящих верблюдов на обочине; показавшиеся мельком рыщущие шакалы; лошадки, спящие в оглоблях двуколок-эек, даже не распряженные на ночь, и эти деревенские двуколки, подмигивающие медными гвоздями в лунном свете, — и опять трупы. Под покосившейся телегой, под древесным стволом, под распиленным бревном, повсюду, где пара бамбучин и несколько пучков соломы создают хоть какую-то тень, земля сплошь усеяна телами. Они лежат — кто ничком, сложа руки, прямо в пыли; кто на спине, подложив под голову сцепленные руки; кто свернувшись клубочком по-собачьи; кто джутовым мешком свисает через бортик телеги; а некоторые спят

---

<sup>1</sup> *Кули* — так именовались наемные работники из Индии и Китая, которых массово завозили в колонии европейских держав, а также в США.

сидя, уткнувшись лбом в колени в ослепительном сиянье Луны. Было бы не так жутко, если бы они хоть храпели; но они не храпят, и сходство с трупами полное, за исключением одного. Тощие псы обнюхивают их — и отходят прочь. Тут и там крохотное дитя спит в постели своего отца, и тот ни на миг не убирает хранящей его руки. Однако по большей части дети все же с матерями, на крышах. Желтокожих белозубых парий нельзя подпускать к смуглым телам.

Удушливо-горячий порыв ветра из зева Делийских ворот едва не отбивает у меня все желание входить в этот час в Город Страшной Ночи. Все виды зловония, животного и растительного, какие только способен производить днем и ночью обнесенный стенами город, слиты воедино в этом порыве. Жара в недвижных банановых и апельсиновых рощах под стенами города кажется по сравнению с этим едва ли не прохладой. Помогите Бог всем больным и маленьким детям, что в эту ночь находятся в городе! Высокие стены домов до сих пор пышут убийственным жаром, а по темным узким проулкам гуляют вонючие сквозняки, способные отравить буйвола. Впрочем, буйволам это безразлично. Вон целое стадо шествует по пустынной главной улице. Время от времени они останавливаются, чтобы уткнуться своей массивной мордой в запертые ставни какой-нибудь лавчонки, торгующей зерном, и шумно фыркают, точено киты.

Потом воцаряется тишина — тишина, полная ночных шумов большого города. Вон еле-еле слышно доносится перезвон какого-то струнного инструмента. Вот над головой кто-то отворяет окно, и скрип деревянных створок гулко разносится по пустынной улице. На одной из крыш курят кальян; мужчины беседуют вполголоса, и слышится бульканье трубки. Чуть подальше разговор слышен отчетливей. Меж раздвижных ставен лавки пробивается полоска света. Внутри купец с усталыми глазами и трехдневной щетиной сверяет свои конторские книги среди громоздящихся со всех сторон тюков набивного ситца. Три фигуры, укутанные в белое, составляют ему компанию и время от времени подбрасывают реплики. Купец вносит запись, потом говорит что-то; утирает тылом кисти струящийся со лба пот. Жара в тесном проулке чудовищная. А уж внутри лавок, должно быть, и подавно невыносимая. Однако ж дело движется своим чередом: запись в книге, гортанная фраза и взмах утирающей руки сменяют друг друга с механической точностью.

Поперек дороги к мечети Вазир-Хана лежит полицейский, без тюрбана, крепко спящий. Полоса лунного света падает спящему

прямо на глаза и на лоб, но он даже не шелохнется. Время к полуночи, жара, похоже, только усиливается. Открытая площадь перед мечетью завалена телами — идти приходится с оглядкой, иначе наступишь. Высокий фасад мечети с его разноцветной блестящей плиткой расписан широкими косыми полосами лунного света; и каждый отдельный голубь, спящий в нише, каждый выступ кладки отбрасывает короткую резкую тень. Призраки в белом устало встают со своих тюфяков и скрываются в темных глубинах здания. Возможно ли подняться на один из высоких минаретов и взглянуть оттуда на город? Ну, как бы то ни было, попробовать стоит — и есть надежда, что дверь на лестницу не заперта. Дверь и впрямь открыта; но поперек проема лежит крепко спящий привратник с лицом, обращенным к луне. Заслышав приближающиеся шаги, из складок его тюрбана выбегает крыса. Человек кряхтит, ненадолго приоткрывает глаза, поворачивается на другой бок и засыпает снова. Вся жара десятка яростных индийских августов скопилась в черных как смоль, отполированных стенах винтовой лестницы. На полпути наверх сидит что-то живое, теплое, пернатое, и оно храпит. Заслышав мои приближающиеся шаги, оно перебирается со ступеньки на ступеньку, все выше и выше, долетает до самой вершины и оказывается желтоглазым злющим коршуном. Десятки коршунов ночуют на этом и других минаретах, и на куполах внизу. На такой высоте присутствует хоть тень прохлады, или по меньшей мере ночной ветерок не так гжуч. Освежившись таким образом, поворачиваюсь, чтобы взглянуть на Город Страшной Ночи.

Словно гравюра Доре предо мною! Золя мог бы описать эту сцену: это зрелище тысяч людей, спящих в лунном свете и в тени Луны. Крыши домов сплошь устланы телами мужчин, женщин и детей; воздух полон невнятных звуков. В Городе Страшной Ночи спят неспокойно — и неудивительно! Чудо, что они вообще могут дышать. Если пристально взглядеться в эти полчища, становится видно, что они почти так же подвижны, как и дневная толпа, — только ночная суета не столь шумная. Повсюду в ярких лунных лучах видно, как спящие ворочаются с боку на бок, то и дело поправляют и расправляют подушки и тюфяки. И во дворах домов, похожих на колодцы, то же беспокойное движение.

Безжалостная Луна высвечивает все подряд. И равнины за городом, и проблескивающую на пядь свободную от стен реку Рави. И вот наконец всплеск серебра на крыше прямо под самым минаретом. Какой-то бедолага поднялся, чтобы опрокинуть на свое раз-

горячненное тело кувшин воды; журчанье падающих струек слабо доносится сюда, ввысь. Еще двое или трое людей в отдаленных уголках Города Страшной Ночи следуют его примеру; вода взблескивает сигналами гелиографа. Вот облачко проплывает над ликом Луны, и город с его обитателями, прежде четко очерченные в черно-белых тонах, тонут в черном и еще более черном. Но беспокойные звуки слышатся по-прежнему, дыхание огромного города, накрытого жарой, голоса людей, тщетно ищущих покоя. Только женщины низших классов ночуют на крышах. А каково же мученье в зарешеченных покоях гаремов, где еще и теплятся светильники? Во дворе внизу слышатся шаги. То муэдзин — добросовестный служитель; однако ему следовало бы явиться сюда еще час назад, поведать правоверным, что лучше молиться, чем спать, ибо сон все равно не придет.

Муэдзин некоторое время возится с дверью одного из минаретов, исчезает внутри, и вскоре бычий рев — великолепный громopodobный бас — оповещает о том, что он поднялся на вершину минарета. Этот голос, должно быть, разносится до самых берегов иссохшей Рави! Даже тут, на другом конце двора, он кажется оглушительным. Облако уплывает прочь, и фигура муэдзина вырисовывается черным силуэтом на фоне неба — уши зажаты, широкая грудь вздымается, раздувая легкие: «Аллаху акбар!» — и пауза, пока другой муэдзин откуда-то со стороны Золотого храма откликается: «Аллаху акбар!» Снова и снова; всего четырежды; и человек десять уже поднялись со своих постелей. «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Бога!» Сколь великолепен этот возглас, исповедание веры, что в полночный час заставляет людей десятками подниматься с постели! И вновь прогремела та же фраза; муэдзин дрожит всем телом от мощи собственного голоса; а затем, вдали и вблизи, ночной воздух звенит от «Магомет — пророк Божий!». Муэдзин словно бы бросает вызов дальнему горизонту, где обнаженным мечом играет и пляшет летняя зарница. Все муэдзины в городе возглашают в полный голос, и некоторые люди на крышах начинают преклонять колени. Долгая пауза — и последний возглас: «Ла илаха илла-лла!» — и вновь тишина опускается на город, точно пресс на кипу хлопка.

Муэдзин ковыляет вниз по темной лестнице, что-то ворча себе в бороду. Минует арку входа и исчезает. И вновь удушливое молчание воцаряется в Городе Страшной Ночи. Снова засыпают коршуны на минаретах, храпя громче прежнего; жаркий ветер налетает порывами и ленивыми вихрями, Луна скользит вниз, к горизонту.

## ГОРОД СТРАШНОЙ НОЧИ

---

Можно сесть, облокотившись на парапет башни, и до рассвета смотреть на этот томимый жарою улей и дивиться ему. «Как они живут там, внизу? О чем думают? Когда они пробудятся?» Снова журчанье воды, выливаемой из кувшинов; слабое скрипенье деревянных кроватей, которые задвигают в тень или выдвигают из тени; нескладное брнчанье струн, которое расстояние превращает в жалобные стоны, и один раз — глухое ворчанье отдаленного грома. Во дворе мечети привратник, который спал на пороге минарета, когда я пришел, дико вскидывается во сне, воздевает руки над головой, что-то бормочет и снова валится на землю. Убаюканный храпением коршунов (они и впрямь храпят, точь-в-точь объевшийся человек), я погружаюсь в беспокойную дремоту, сознавая, что пробило три и что в воздухе слегка — совсем чуть-чуть — повеяло прохладой. Город теперь абсолютно тих, не считая любовных песен какого-то бродячего пса. Кругом лишь тяжкий, мертвый сон.

Потом минует еще несколько недель темноты. Ибо Луна села. Даже собаки умолкли, и я жду первых проблесков зари, прежде чем пуститься в обратный путь, домой. Вот снова шарканье ног. Вот-вот начнется утренняя молитва, мое ночное бдение кончено. «Аллаху акбар! Аллаху акбар!» Восток сереет, потом делается шафрановым. Налетает рассветный ветер, словно это муэдзин его призвал. Город Страшной Ночи — все как один — поднимается со своих постелей и обращается лицом навстречу грядущему дню. С возвращением жизни возвращается и звук. Сперва тихий ропот, потом глухой, басовитый гул — не следует забывать, что весь город ночует на крышах. Веки мои тяжелеют, отдавая долг отложенному надолго сну. Я выхожу из минарета во двор, а со двора на площадь, где спящие уже пробудились, убирают свои лежанки и обсуждают утренний кальян. Мимолетная свежесть воздуха развеялась, снова такая же жара, как и прежде.

— Не будет ли сахиб столь добр посторониться?

Что такое? В утренних сумерках люди что-то несут на плечах. Я отхожу в сторону. Тело женщины тащат на гхат, туда, где разводят погребальные костры. Зевака говорит: «Она умерла в полночь от этой жары». Что ж, выходит, это не только город Ночи, но и город Смерти.

## ИНДИЙСКИЙ ПРИЗРАК В АНГЛИИ<sup>1</sup>

История эта сейчас весьма кстати, даже несмотря на место происхождения призрака, — во-первых, потому что события в ней произошли аккуратно перед прошлыми всеобщими выборами, а во-вторых, потому что на пороге Рождество, когда призракам, как устрицам, самое время.

Одинокий всадник: что может быть лучшим — ну или более избитым — началом для леденящего душу рассказа о крови и ужасах? И все-таки в данном случае одиночество всадника было сколь несомненным, столь же и неприятным для него самого. Итак, одинокий всадник отчаянно спешил к своей цели; впрочем, спеша не спеши, а по времени он все равно бы мало что выиграл, ибо дорога была на редкость скверная — из Честера в Тарпорли. Те, кому знаком этот уголок Англии, охотно подтвердят, что для долгой поездки сырым и промозглым февральским вечером стоило выбрать иную местность, и нашего одинокого всадника, только что возвратившегося из Индии, такое положение дел никак не радовало. Милую за милей скакал он напрямик по раскисшим голым дорогам, перемежавшимся мокрыми вересковыми пустошами и мрачными ельниками, мимо стоячих озер и зарослей камыша, куп утесника и ольховых дебрей, не встретив ни единой живой души с тех пор, как оставил позади жухлый безлистный пейзаж района солеварен, где овцы чернее ночи, а трава, которую они жуют, хрустит от сажи из солеварных печей, и когда наконец дорога разветвилась надвое и на одной табличке дорожного указателя всадник прочел: «Тарпорли, 6 миль», а на другой — «Будворт, ½ мили», то, вполне естественно, устремил жадный взор в сторону Будворта. Сквозь сгущающиеся сумерки он разглядел мерцающий свет в окнах деревенских домов, расслышал звон-

---

<sup>1</sup> Рассказ «An Indian Ghost in England» впервые опубликован в газете *Pioneer* 10 декабря 1885 г.

кие крики беззаботной детворы, и, что милее всего, узрел алое пламя очага в заведении, являвшем собой не что иное, как сельскую гостиницу. Это решило его выбор, и он направил коня к «Георгу». Камин, ужин, бутылка вина; и вот, как полагается в романах, наш одинокий всадник погружается в невеселые думы. Возможно, причиной его хандры стало то, что в дороге он продрог; возможно, он жалел, что не исполнил своего намерения добраться до Тарпорли. Как бы то ни было, душа его не находила покоя, и он то и дело подхватывался и глядел в окно.

Ночь выдалась холодной и стылой, волглые туманы пухлыми белыми клоками стелются над водой и сушей. Порывы ветра наполняют старую постройку тревожными звуками и поминутно швыряют в окно дробь дождевых капель.

Гостиничная прислуга перед сном заглядывает в комнату с вопросом, не надо ли чего сэру. Выяснив, что сэру ничего не нужно, желает ему покойной ночи и нерешительно удаляется, но у двери оборачивается:

— На вашем месте я б за полночь-то не сидела, мистер. Нынче не след бодрствовать. А коль уснете, так, бог даст, и не услышите.

— Чего не услышу?

— А? О том не скажу. Может, вы подумаете, что ветер воет, да и только. — Прислуга захлопывает дверь и исчезает.

— Хм, — бормочет себе под нос наш герой, — с какой стати эта женщина решила, будто я, черт побери, должен что-то услышать?

Его снова тянет к окну, и, раз-другой смерив комнату шагами, он вновь встает у оконного проема и вглядывается в темноту.

Дождь прекратился, меж гонимых ветром туч слабо пробивается что-то похожее на лунный свет. Ветер горестно завывает над безмолвной деревней; он треплет гостиничную вывеску, так что та начинает стонать, точно неупокоенный дух с церковного кладбища напротив. В отдалении виден квадратный силуэт мельницы; она смутно чернеет над длинной полоской пруда, обрамленного камышом. Когда ветер долетает до берега, камыш трепещет вместе с соседками-ольхами. Они будто бы что-то шепчут, склоняясь друг к дружке и к прибрежным ивам, чьи плакучие ветви тянут свои причудливые руки к краю темных вод. Узкие волны скорбно ударяются о берег, в камышах слышен плеск и шелест — они тоже словно бы жмутся друг к другу и шепчут: «Слышите? Он идет!»

Резко шлепнув хвостом, где-то уходит на глубину огромная щука; следом ночь прорезает тревожный вскрик болотной птицы,